

ДАВИД СЕГЛЕВИЧ



ВДРУГ
ВСПОМНИЛОСЬ

Давид Сеглевич

Вдруг вспомнилось

«Издательские решения»

Сеглевич Д.

Вдруг вспомнилось / Д. Сеглевич — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-960031-8

Жанр книги можно определить как «воспоминания и размышления», с той особенностью, что воспоминания принадлежат не только автору, но и его близким, а в размышления вкраплены экскурсы в историю науки и технологии. Первая часть повести, «Урал», построена на впечатлениях раннего детства в небольшом уральском городке. Вторая часть, «Родители», охватывает время со второй половины девятнадцатого века по сороковые годы двадцатого. Действие происходит в Сибири, Ленинграде 30-х годов и на Урале.

ISBN 978-5-44-960031-8

© Сеглевич Д.
© Издательские решения

Содержание

От автора	6
Часть первая. Урал	7
Звезды над прудом	7
Алгебра отношений	8
Первые впечатления	9
Вокруг политики – 1. Смерть Сталина	11
Трамплин над прудом	12
Домашние вещи	13
Пруд-убийца	15
Больничная улица	17
Мои бабушки	20
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Вдруг вспомнилось

Давид Сеглевич

© Давид Сеглевич, 2019

ISBN 978-5-4496-0031-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Памяти моих родителей

От автора

Назвав свою книгу «Былое и думы», Герцен не столько дал ей заголовок, сколько обозначил жанр. Можно ли лучше определить мемуары, в которых воспоминания о событиях перемежаются вольными размышлениями, легким философствованием, аналогиями и отвлеченными?

А роман Александра Герцена – великий роман. Да много ли в литературе такого, что перечитывают полтараста лет спустя? – Доли процента. В чем секрет Герцена? – В искренности, в необычном для нашей эпохи раскрытии себя. За сто лет до того – «Исповедь» Руссо. Но ведь и её помним и перечитываем.

«Вдруг вспомнилось» – это тоже скорее обозначение жанра, чем название. Это из покойного Бенедикта Сарнова, хотя, разумеется, не он здесь первооткрыватель. Да ведь так и движется наша мысль. Часто без связи с предыдущим, без всякого невидимого стержня, на который всё нанизывается, без причины и без морали. Просто вспомнилось.

И я хочу вспомнить всё, что есть во мне и скоро вместе со мною исчезнет. Не только пережитое лично, но и прожитое и рассказанное моими родителями, родственниками друзьями. Ведь всё это – тоже моё. И еще... Мне всегда хотелось написать книгу в которой биографическая литература соприкоснется с научно-популярной...

Первым моим читателем, критиком и корректором была моя жена Лариса Рудкевич (1946—2019), которой я очень благодарен.

Все подстрочные примечания принадлежат автору.

Часть первая. Урал

Звезды над прудом

Темный зимний вечер. Уральский городок, втиснутый в неширокое пространство между заснеженными холмами. Мы со старшей сестрой идем вдоль пруда и смотрим на звезды. Пруд представляется мне огромным. Я приеду сюда через сорок лет и не поверю глазам: это в самом деле он, тот громадный водоем, по которому часами катались на лодке, за которым – обширный незнакомый лес, населенный неведомыми племенами? С мостика я увижу небольшое озеро с темно-зеленой водой, по соседству с металлургическим заводом демидовской эпохи. Три гигантских фаллоса прокопченных доменных печей и кислотовое зловоние, сопровождавшее годы моего детства.

К пруду было привязано всё, и вся жизнь вертелась вокруг него. У каждого была вёсельная лодка. Появлялись первые моторки. А зимой по его льду ходили в центр городка, в кино и магазины.

Но тогда, над вечерним прудом, я еще не знаю, что он маленький. Сестра показывает мне Большую Медведицу, потом – созвездие Лебедя. Лет через десять я пойму, что сестра перепутала. То, что в ее представлении было Лебедем, на деле оказалось Орионом. Зимой «небесный охотник» виден очень хорошо. Впрочем, сдается мне, что он хорошо виден всегда и везде. Про южное полушарие не скажу, никогда там не был. Но на девятом градусе северной широты, в тысяче километров от экватора, Орион не менее красив, чем в наших средних широтах.

Никак не могу понять, что за неведомая связь существует между мною и тем мальчиком. Почему он – это я? Они совершенно непохожи друг на друг друга: четырехлетний мальчик с санками на берегу уральского пруда и грузный пожилой мужчина с блестящей лысиной, паркующийся автомобиль возле небоскреба на другой стороне земного шара. За много лет сменились все клетки тела, поменялись в нем все молекулы. Были одни – стали другие, и их явно больше. Сохранилось только нечто неосоздаемое и эфемерное: структура. Тайнственные связи, взаимное расположение каких-то элементов, топология тех путей, по которым проходят электрические сигналы. Только они и отождествляют меня с тем, давним. Не сами материальные сущности, но отношения между ними.

Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Человек есть совокупность отношений, и только отношения важны для человека».

Алгебра отношений

На мехмат, на мехмат, господа! Приобщитесь к полумистическому процессу возникновения и развития идей. Ежедневное восхищение: «Это ж надо было додуматься!» Знаю, что говорю. Не только я сам, но все мои дети прошли через мехмат. Теперь старшие внуки повторяют их путь.

Там – абстракции, там – «игра в бисер». Но разум противится абстракциям. Он ищет опоры в образах.

Из всей университетской премудрости более всего запала в душу теория отношений. Она менее абстрактна, чем арифметика. Вот, например, отношение «быть братом». Или сестрой? Кстати, почему в русском языке нет такого простого слова, как английское *sibling*: «брат или сестра»? И так, «быть сиблингом». Если Вася – сиблинг Оли, то и Оля – сиблинг Васи. Это называют симметричностью. А если Саша – сиблинг Маши, а Маша – сиблинг Кати, то и Саша – сиблинг Кати. Это транзитивность. И так, все они – братья и сестры. И совсем по-другому выглядит отношение «любить». Если Саша любит Таню, то из этого – увы – совсем не следует, что и Таня любит Сашу. А если Саша любит Таню, а Таня любит Колю, то это не означает, что Саша любит Колю. Скорее, совсем наоборот!

Или взять известную байку о шести рукопожатиях. Некто А пожал руку В, и этот В жал руку С... Словом, «я встречал того, кто видал того, кто Ленина помнил». Говорят, что все люди Земли отдалены друг от друга не более, чем шестью рукопожатиями. Я в этом сильно сомневаюсь. Теория говорит лишь о том, что все люди разделены на отдельные группы «рукопожателей». И группы эти немалые. Иногда хочется отречься от своей группы, такие в ней попадаются уроды. Этот уральский мальчишка с саночками всего тремя рукопожатиями (через дядю и И.В.Курчатова) отделен от Сталина (что само по себе грустно). А стало быть – пятью рукопожатиями (через Риббентропа) – связан с Гитлером. Надеюсь, никто не осудит за такую «связь с Гитлером», а все равно неприятно...

После окончания универа, я подумал, что алгебра отношений вполне подойдет для представления знаний о мире в памяти электронно-вычислительной машины (слово «компьютер» тогда только входило в обиход). Стал что-то придумывать и программировать, потом порылся в иностранных научных журналах – и обнаружил, что лет за пять до того великий (да, теперь его считают таковым – и вполне заслуженно) американский информатик Эдвард Кодд уже разработал и теорию, и первые системы, которые теперь называют реляционными базами данных. («Реляционный» и означает: «построенный на отношениях»). Вскоре они буквально вытеснили все прочие системы поиска данных.

Первые впечатления

Лев Толстой помнил себя с годовалого возраста, может и раньше. Даже помнил, как его пеленали. Верю. Почему бы и нет? Но как мало Толстых! Как плохо люди помнят свои первые годы, первое десятилетие жизни! Какие уж там пеленки! Мне кажется, люди стали бы лучше и добрее, если бы память первых лет не уходила...

Память каждого человека, как и память человечества, – ненадежна, прихотлива и глупа. Запоминается не то, что важно и существенно, не выдающиеся события, не славные деяния, а мишура всякая. Психологи утверждают, что в первую очередь запоминается то, что связано с сильными эмоциями. Роясь в затхлых чуланах собственного мозга, начинаю в этом сомневаться. Почему застряло то, а не иное? – Шут его знает!

Первые жизненные ощущения неясны, размыты. И не скажешь, было ли это на самом деле или, возможно, возникло уже потом, после рассказов родителей о твоём раннем детстве...

Одно из первых впечатлений. Снежная равнина, серенькое небо и на нем – черная галочка. Буква V. Палочки часто сдвигаются и расходятся. Я и не знаю, что это птица. Я вообще не задаюсь вопросами. Для меня это просто деталь неба. Видимо, так воспринимает мир животное.

Вот опять серый фон (вечер? сумерки?) и какие-то темные фигуры. Я лежу (вероятно, в коляске) и просто смотрю на них. Мыслей, вопросов, сознания еще нет...

Доказательное начинается лет с двух... Ощущение движения, непрерывного покачивания, темная деревянная скамья, темное мужское лицо надо мной. Потом меня несут, и я вижу домик с забором...

Года через два-три мы поехали в соседний город, к маминой приятельнице тете Кате и ее мужу. Поднялись на третий этаж обычного многоквартирного дома «сталинской застройки», и я спросил:

– А где домик?

И мама вспомнила, что мы ездили в гости к тете Кате, когда мне было два года. Только тогда они жили не в квартире, а в своем доме. И сопровождал нас в поездке, муж тети Кати, азербайджанец дядя Сеня...

Зима. Гуляю с бабушкой. Мне скоро три. В овражке у больницы сидят бородатые цыгане и лудят котлы. Потом бабушка рассказывала, что я очень боялся, что они меня украдут. Идем к фотографу. Меня поднимают подмышки и ставят на какие-то кирпичики в уголке. И тут (я это отчетливо помню), что-то накатывает, подходит к горлу, захлестывает все мое естество – и я начинаю реветь. Тогда рядом с бабушкой ставят стульчик, ставят меня на него. Я уже успокоился. Стою и думаю, что вот ведь – не плачу. Стою и не плачу! Потом бабушка кому-то рассказывает, как меня фотографировали и как я сперва заревел и как пришлось поставить меня на стул. А карточка сохранилась...

Цыгане почему-то облюбовали окрестности больницы. Часто ставили табор неподалеку, промышляли гаданием, мелкой работой, вроде лужения котлов, возможно, и воровством. Помню, как весь табор внезапно заполнил больничный двор. Шумно. Цыганята вертятся, ссорятся, орут. Женщины с сосущими грудь детишками, бородатые и курчавые мужики в черных жилетах. Все движется, волнуется...

Потом мама рассказала. Одного из цыган пырнули в драке ножом. Мама сделала ему операцию, а он, отйдя от наркоза, выпрыгнул в окно палаты – и был таков. Соплеменники впихнули его в телегу и всем табором привезли назад в больницу.



Конец 1952. С дедом. Мне два года

Вокруг политики – 1. Смерть Сталина

Смерти Сталина я не помню вообще. Это странно, если принять во внимание, какой стон и вопль стоял по всей земле советской. Вероятно, в нашей семье никакого траура и плача не было. Я уверен, что для моих родителей, людей весьма культурных и осведомленных, событие было отнюдь не печальным. Знали ли они, от какой страшной участи избавилась в тот день наша семья? Но не станешь же праздновать! Папин брат дядя Саша, весельчак и балагур, говорил картавым голосом Ленина (по поводу внесения трупа Сталина в мавзолей):

– Вот уж не п'едполагал, что ЦК подложит мне такую сви'гню!

Через две недели после достопамятного события мне исполнилось три, а еще через неделю умер дедушка, и это я уже помню.

А вот помнит ли кто-нибудь, что такое песенник? А ведь городская семья без песенника в пятидесятые – это же реже и необычнее, чем семья без кошки. Песенник – это просто сборник песен, чаще всего без нот. Застолье было немыслимо без пения. Пели обычно очень фальшиво, перевирая слова, но с большим энтузиазмом. Песни в сборнике – самые разные. Про Родину, партию, вождей (такие, кстати, тоже пелись), военные, лирические, шуточные. Уже начавши читать, я натолкнулся в песеннике на песню о Ленине и три песни о Сталине. Взял у бабушки ножницы и удалил один лист с двумя «сталинскими» песнями. Не потому, что знал нечто, а просто из чувства справедливости: одна песня о Ленине, одна – о Сталине.

*«Величаем мы сокола, что всех выше летает,
Чья могучая сила всех врагов побеждает.
Величаем мы сокола, друга лучшего нашего,
Величаем мы СТАЛИНА, всенародного маршала».*

Это Исаковский. В то время в русской орфографии существовали такие правила: одно имя нарицательное – Родина – пишется с заглавной буквы, одно имя собственное – СТАЛИН – всегда пишется большими буквами. Советская пропаганда вообще творчески развивала традиции египетских фараонов. Фараон, как известно, всегда изображался гораздо крупнее окружающих. Так же должен был изображаться Сталин, и, как помните, Брежнев. Уже в семидесятые годы замечательные были в «Правде» фотографии с заседаний политбюро ЦК. Фотографировали длинный стол с «заседателями», затем делали фотографию сидящего Брежнева – в более крупном масштабе – и «сажали» генсека во главе стола.

А еще года через два я подслушал, как родители взволнованно разговаривают.

– ... Говорят что и это всё – из-за Сталина.

– И не только это...

На меня не обратили внимания, и я с большим интересом выслушал почти весь разговор. Так вот и узнал...

Трамплин над прудом

Он стоял посередь лесочка, что представлялся мне джунглями. Старый, с тридцатых годов, наверное. Шаткий, но вместе с тем прочный. Покачиваются скрипучие доски-ступеньки. Лезем наверх: папа, мама, сестра и я. Высоко, но совсем не страшно. Интересно, это мои родители первыми обнаружили, что здесь очень здорово загорать? Сверху виден пруд. Виден лес. Зеленый? – Нет. Большие прогалины. Скукожившиеся лапы больных елей. Желтая пожухлая трава на полянах... Заводы – рядом. Магнетитовый, чугуноплавильный, они и окрашивают лес в желтоватый цвет...

Однажды мы с Юркой попробовали швырять с трамплина бутылки. Чудо: они падали на землю и не разбивались. То ли почва была мягкой, то ли сам трамплин был не столь высок, как мне тогда представлялось? Вероятно, за время жизни изменилась шкала восприятия расстояний. Теперь всё видится раза в три меньшим.

А зимою на пруду проходили соревнования. Вон он летит, черная закорючка на фоне белого снега. Летит, как птица, дальше, дальше... Эх, сорвался! Закорючка обратилась человечком, сползающим по склону, раскинувши руки и ноги с лыжами. Папа смеется: ничего страшного, съезжают и на спине, и на боку. Вероятно, он смотрит на происходящее глазами врача: лишь бы травмы не было.

Говорили, что с этого трамплина можно прыгать аж на пятьдесят метров. Мировой рекорд в то время – 82 метра. Прыжки с трамплина – один из немногих видов спорта, где результаты выросли втрое за время жизни одного поколения. Сегодняшний рекорд – 253 метра. Даже с половиной.

На том же пруду – соревнования в беге на лыжах. Гляжу на лыжников – и удивляюсь: почему кто-то отстает? Они что, не знают, что нужно просто быстро-быстро двигать ногами – и всё? Мне уже четыре года, и этой осенью папа купил мне лыжи. Когда первый снег покрыл кое-где почву, я начал скандалить и требовать, чтобы мне немедленно дали мои лыжи. Я хотел сейчас же кататься. Отец проявил твердость и лыж мне не давал аж до самого декабря. А на следующий год я их нацеплю, встану поближе, выбегу на трассу и конечно же обгоню всех. Потому что я знаю, как это делать.

Любое достижение казалось мне не результатом умений, не венцом изнурительной тренировки, а продуктом знания. Нужно лишь познать некий секрет. Примерно так же смотрит на мир герой «Детства Никиты» Алексея Толстого. Он уверен, что если быстро и правильно двигать ногами, то полетишь. Надо только знать, как двигать.

Может быть, есть такое место, что войдешь в ворота – и тут же очутишься где-нибудь в Челябинске. Надо только знать, где это место...

Домашние вещи

*На свете все преобразилось, даже
Простые вещи – таз, кувшин...*

Арсений Тарковский

Вещи преобразились не сразу. Это теперь я не могу разглядеть душу вещей сквозь их утилитарную сущность. А когда-то почти все кругом было кантовской вещью в себе. Старое кресло в стиле ар-нуво смотрело на меня глазами своих завитков по бокам спинки. И то был взгляд одушевленного существа. (Надо же! Во времена моего детства еще попадались в обычных квартирах предметы мебели начала века. И ими пользовались. Мама периодически приглашала кого-нибудь сменить обивку).

Узоры на коврах и занавесках принимали диковинные формы: смеющиеся или грустные рожи, неведомые звери, людские фигуры. Они даже беседовали друг с другом.

Ковры – это вообще особ статья. На самом старом, из бабушкиного приданого, можно разглядеть коня, вылинявшую усатую физиономию всадника и длинное женское платье, висящее вдоль крупа. Бабушка сказала, что это гусар прощается с девушкой. Но меня не занимает этот сюжет. Я вглядываюсь в прорывающийся на заднем фоне лес. Из него вроде бы кто-то выглядывает. Из цветов на переднем плане выползают бледными лентами какие-то змеи. Даже в бессюжетном ковре, что висит рядом с моей кроватью, можно многое разглядеть, когда не хочется спать. Вот палка с набалдашником. С другой стороны ей отвечает такая же. Нет, не совсем такая. Она сдвинута немного вниз, и цвет набалдашника – чуточку другой. Это нехорошо, это раздражает и смущает что-то в сознании...

Старые газеты складывают в матерчатую висячую папку. На ней вышит крестиком пестрый большой попугай. Папка так и называется: попугай. «А где эта газета?» – «Наверно, уже в попугае». Этот попугай – тоже живой. Он – незаметная часть интерьера, но сам замечает всё.

Две серебряных чайных ложечки – загадки. На одной выгравированы буквы «СЕП», что означает «Савва Ефимович Петров». На другой – «УСП», «Ульяна Саввична Петрова». Савва Ефимович – бабушкин отец, а Ульяна – бабушкина сестра, которая умерла совсем молодой от родов.

Вещи всё еще были спутниками. Когда их заводили, то и готовились прожить с ними жизнь, ну, в крайнем случае, полжизни. Не скажу, что все теперешние вещи служат меньше (хотя в большинстве случаев это так). Просто, отношение к ним – иное.

Мои нынешние вещи – это просто вещи. Не «хищные вещи века» и не живые творения прошлых лет. А те, давние, облачены в прозрачный ореол романтических воспоминаний. Они все еще живут.



Это вроде бы то самое кресло. 1953—1954

Пруд-убийца

Утро. Я всегда поднимался рано. А сегодня мне скучно. И вообще тягостно. Слишком серо это небо, слишком холоден ветер. Почему всё так мрачно? И ни души кругом, и волны вон как ходят...

На берегу появляются трое мужиков. Помню их мутные глаза, одутловатые лица. Один выделяется и ростом и повадками. Он крупнее тех двоих и разговаривает командирским тоном.

– Ладно, остальное на острове допьем.

Проходят нетвердой походкой по мосткам, опускают в лодку большую сумку. Сразу двое сели на весла. Прогромычала цепь и брякнулась на дно лодки. «Главный» сел ближе к носу. Островок с торчащим над ним древним телеграфным столбом был в трех сотнях метров от берега. Я следил, как лодка прыгает по волнам цвета мокрого асфальта, пока она не уткнулась в кусты возле столба. («Мокрый асфальт» – это сегодняшнее сравнение. В ту пору мне еще не доводилось видеть асфальт).

К полудню распогодилось. Когда я вновь пришел к пруду, на воде играли веселые солнечные блики, а женщины на мостках полоскали белье. Но, похоже, сегодня им совсем не до белья. Все страшно возбуждены. Кричат, жестикулируют, обсуждают что-то. Да о чем это они?

– Прямо в лодке и подрались... Один замахнулся – да и свалился в воду. Они все трое лыка не вязали... А тот хотел его в воде стукнуть веслом. Навалился на борт – лодка и перевернулась. Двое вроде бы друг в друга вцепились, а один малость в стороне. Пока мы тут сообразили да опомнились – уже и голов не видно. Только лодка перевернутая плавает. Вон, вытащили её.

Вызвали водолазов, и к вечеру на мысочке возле больницы лежали два трупа. Люди подходили, любовались, отпускали шутки относительно состояния извлеченных тел. Видно, это были те двое, что вцепились друг в друга. Третий труп вытащили только через две недели и принесли в больничный морг.

Этот морг (в просторечии – мертвецкая) был одним из главных развлечений окрестных жителей. Он практически всегда был открыт для публики. Видимо, исходящие из мертвецкой неуловимые флюиды вызывали в местном народонаселении легкую некрофилию. Туда бегали и дети, и взрослые поглазеть на новые поступления.

За две недели тело сильно распухло и казалось просто громадным. Я сразу понял что это тот, кого мысленно называл «главным». Кожа стала белой, как бумага, вся пошла глубокими складками и кое-где свисала лоскутами. Уже немного позднее моим любимым чтением стал учебник судебной медицины профессора Н.В.Попова. Там были фотографии трупов, пролежавших в воде. Отдельно – рисунок руки с такими же складками на коже и подписью «Перчатка смерти». (Кстати, нынешний виднейший эксперт в области судебной медицины и автор новейшего учебника – тоже профессор Попов, но уже другой: не Н.В., а В.Л.).

Возле тела утопленника причитала жена, выдумывая усопшему все новые эпитеты. Собравшиеся внимали и со смехом ее передразнивали.

– «Дяденька хороший!» Ой, не могу!...

Они понимали, конечно, что покойный много пил и почему зря лупил жену.

Нам, мальчишкам, эта картина вскоре надоела, и мы пошли с больничного двора на нашу улицу, которая так и называлась: Больничная.

Больничная улица

Мне иногда снится эта коротенькая немощеная улица. Одним концом она упирается в железнодорожную станцию, другим – в мысок над озером, на котором стоит городская больница. Там работают мои родители. Летом посреди больничного двора пылает огромная и алая маковая клумба.

Иногда мама оставляет меня подождать ее где-нибудь в помещении для дежурных врачей или в раздевалке процедурных кабинетов. Там всегда стоит удивительный запах. Нигде больше я не встречал такого. Кажется, у этого запаха есть цвет. Запах – ярко-синий. Позднее узнал, что так пахнет озон, трехатомарный кислород. В природе он образуется после грозы, а в больнице – от ультрафиолетовых ламп. Кстати, озон в газообразном состоянии – голубой, а в сжиженном – именно ярко-синий.

На углу, рядом с больницей, живет Слепая Клава. Наверно, не такая уж старая, но мне представляется старушкой. «Темная вода», атрофия зрительного нерва. Тут никакая операция не поможет.

– А вы умели читать до того, как ослепли?

– Конечно. Вот, хотите, напишу ваше имя? Дайте-ка карандаш.

(Она меня почему-то называет на вы). И довольно четко выводит на листочке: «САША». Буквы, правда, наползают немного одна на другую.

Однажды во двор Слепой Клавы въехала телега, груженная книгами. Книги были необычные. Большие, толстенные и с плотными желтыми листами. Внутри – никакого текста, только выпуклые точки. Все страницы ими покрыты.

Позднее Слепая Клава показывала мне эти книги у себя дома.

– Вот четыре точки. Это «Г»...

Так я познакомился со шрифтом Брайля. Теперь я часто вижу такие тексты: в лифтах, на табличках монументов, на указателях в парках. Иногда думаешь: «Да сколько же у нас слепых? Ведь единицы!» Моя страна преподносит мне урок: делай не для большинства! Делай для каждого!

Часть дома Слепая Клава сдавала квартирантам...

Мы сидели с бабушкой возле открытого окна, когда со стороны пруда раздались жалобные с подвыванием крики:

– Не бу-у-у-ду! Не бу-у-у-ду!

– Бьют кого-то, – спокойно заметила бабушка.

– Как это «бьют»?

– Да обыкновенно: ремнем али вицей...

Вопил шестилетний мальчик, сын квартирантки. Он потом заходил к нам во двор. Очень бледный и худенький. Кожа на его лице казалась мне полупрозрачной. И всегда – виноватая улыбка. На людей он смотрел немного заискивающе, немного снизу вверх. Даже на меня, хоть и был чуточку меня постарше.

– У меня два папы: дядя Миша и дядя Сережа. Дядя Миша меня бьет, а дядя Сережа – нет.

Мамаша его была невысокой крепко сбитой бабой, широкой в плечах, с узкими глазенками. Неизвестно, что в ней находили все те мужики, от одного из которых и был этот ребенок. Когда обнаруживала, что сын ушел к пруду поиграть с ребятами, хватала хворостину и, нахлестывая, гнала его домой.

– Бестолковый, – вздыхала Слепая Клава. – Ну, вы понимаете, что это такое. Ничего не знает. Уж в магазин не пошлешь: считать не умеет.

Потом показывает висящую в дальней кладовке длинную гладкую веревку.

– Она его вот этим била. А я вот взяла да и спрятала.

Я разглагольствовал с соседскими девчонками, что надо идти в милицию, что надо подать жалобу. Дальше разглагольствований не пошло. Я не знал, как это делается. К тому же, происходящее было в порядке вещей. Шестьдесят лет спустя в России приняли закон, по которому допускается бить домашних только раз в год. В противном случае могут и дело возбудить. Так что не надо рассказывать мне байки про ужасы ювенальной юстиции, про то, как без всяких оснований отбирают детей у несчастных родителей. Да, в сегодняшней Канаде этого ребенка в мгновение ока изолировали бы от матери. И правильно бы сделали.

Мы занимали верхний этаж следующего дома, а внизу жили две семьи. В одной половине – застенчивый и тихий Ефим с женой и двумя детьми, отнюдь не застенчивыми и не тихими. Видно, пошли в мать. Бабушка звала жену Ефима хамкой. Я сперва думал, что это имя такое. В другой половине – Дядя Степан и Тётка Авдотья, пожилая мордовская пара, раскулаченная и высланная с Волги на Урал во время коллективизации. Дядя Степан – худой пожилой мужик с большой аккуратной бородой и в серой толстовке. Все делал основательно, а говорил не торопясь, степенно и совершенно свободно, не делая ошибок в русском языке. Такие, как он, и сколачивали крепкие крестьянские хозяйства. За то и поплатился. Дядя Степан работал совсем рядом, в учреждении «Заготзерно». Там был «ссыпной пункт» – большой сарай под дырявой крышей. Мы туда иногда забегали и катались со склонов пахучих горок из кукурузных или пшеничных зерен. При конторе был конный двор (лошадь была самым обычным средством транспорта). Коней купали в пруду, и мы купались рядом с ними. Никаких аналогий со знаменитой картиной Петрова-Водкина. Наверно, потому, что кони были не красные, а больше гнедые. Один раз Дядя Степан посадил меня верхом на лошадь (прямо на круп, без седла) и привел ее к нам во двор. С тех пор я ездил верхом всего несколько раз и всегда – с большим удовольствием. Может, стоило заняться верховой ездой? Как пишет Ромен Гари, жизнь полна упущенных возможностей.

А Тетка Авдотья была маленькая, быстрая. Говорила тоже быстро и неправильно, путая рода и падежи. «Вчера Ленка приходил». И часто вставляла непонятное слово «мерян».

– Бабка Авдотья, ты где творог купила?

– Мерян, под банкой.

(По дороге к центру был дом где на первом этаже – продуктовый магазин, а на втором – госбанк. Магазин называли «подгосбанком»).

Моя сестра решительно не хотела называть эту женщину Теткой Авдотьей, как все прочие, и звала тётёй Дуней.

Домов на улице – ровно десять. Номера домов идут подряд, без разделения на четные и нечетные. Ибо на другой стороне – только «Заготзерно». На уральском языке сторона улицы называется «порядок». На Больничной только один порядок.

Через дом от нас – Анна Алексеевна и Иван Григорьевич Титовы. Это не соседи, это скорее часть нашей семьи. Они потом к нам еще не раз приезжали за тысячу километров. По очереди.

У Титовых – большая русская печь. Она всегда теплая. Я обычно торчу наверху, на ее лежанке. Вот Анна Алексеевна, вынув из устья горшок с топленным молоком, снимает темно-вишневую пенку, кладет ее на блюде и протягивает мне наверх. Честно говоря, пенку я не люблю, но отказываться мне неловко. Иван Григорьевич иногда ложится рядом со мной и рассказывает про войну. Как Гитлер начал нападать на другие страны и захватывать их. Как потом напал на нашу страну и как Иван Григорьевич пошел на фронт.

У Титовых есть стереоскоп времен японской войны. Две линзы, вставленные в добротную деревянную оправу со складной ручкой. К стереоскопу прилагается пачка картонок с двойными картинками. Подписи – с ятями и твердыми знаками. Вставляешь картонку, подносишь стереоскоп к глазам – и видишь одну картинку, но объемную. Вот джунгли. Под пальмами

висит над костром огромный котел. Возле него – симпатичные людоед и людоедка в набедренных повязках из травы. Рядом с ними – европеец в костюме, штиблетах и с галстуком. Покорно стоит на четвереньках, ожидая, когда его треснут дубиной по затылку. Подпись: «Мой милый! Я привела этого господина к нам на обед».

Через несколько лет прочитаю «Занимательную физику» Якова Перельмана. (О да, и мне можно было поставить тот пресловутый диагноз: «острый перельманит мозга»). Оказалось, что достаточно иметь две почти идентичных картинки (изображения чуть сдвинуты) – и никакого стереоскопа не надо. Скосил немного глаза – картинки слились и приобрели объемность. Два сереньких многоугольника превращаются в ярко блестящий многогранник.

Единственный кирпичный дом на улице принадлежит родителям моего друга Юрки. Кладка старая, добротная. Этот дом построил Юркин дед в самом начале прошлого века. Иногда к ним наезжает пожилая тетка. Наверно, даже двоюродная бабушка. Теперь я чувствую: не иначе как в гимназии училась. Сидит с книжкой на стульчике прямо посреди двора. Вот заглядывает прохожий и спрашивает о чем-то.

– Нет-нет, это не поликлиника. Здесь жилой дом.

Мы прямо со смеху покатываемся. «Живой дом!» Это надо же!

– Мальчики! Не грызите так много семечек! У вас непременно случится воспаление слепой кишки.

Мы снова хохочем: «Слепая кишка, живой дом!» И что она еще придумает?

А вот мы начинаем рыть яму рядом с дорогой.

– Что вы делаете! Здесь же ходит публика...

Улица уходит вдаль, как дорога в романе Александры Бруштейн, и заканчивается домом Цепелевых возле вокзала. Вокзальное здание – небольшое, но вокзал – самый настоящий. Сюда приходят товарные и пассажирские поезда. Когда я был совсем маленький, их тянули страшные черные разбойники-паровозы. В товарняках было примерно по тридцать вагонов. А теперь сюда прибывают интеллигентные электропоезда. У них и голос другой. И в товарных составах мы насчитываем уже по пятьдесят вагонов и платформ. И объявляет женский голос: «Поезд Имярек вышел с соседней станции. Прибывает на первый путь». И призывает плакат у вокзала: «Больше лома стройкам шестой пятилетки!»

Кончается улица, но не кончаются обиталища ее жителей. Сразу за нею – запасные пути с теплушками железнодорожников. В такой теплушке живет Колька. Мы заходим к нему иногда. Внутри тесно, но ничего, жить можно. Колька зажигает спичку и засовывает ее – прямо горящую – себе в рот. Огонек просвечивает сквозь щеку.

– Она что, горит там внутри?

– Погорит немного, потом гаснет.

Колька знает, где повернуть рычаг, чтобы покатился вдоль путей большой козловый кран. Над колесами крана – жестяные чехлы. Колька включает, и в этот момент надо прыгнуть на чехол и вцепиться в штангу. Проезжаем аж метров тридцать.

В России и сейчас женщин больше, чем мужчин. Если нынешние российские мальчишки такие же, какими были мы, то это неудивительно, хоть и очень жалко.

Мои бабушки

Что общего между двумя моими бабушками, кроме того, что они были матерями моих родителей? Обе они родились в 1888-м и умерли в 1971-м. У обеих было три класса образования. Обе говорили по-русски, однако их языки были несхожи. Сусанна Саввична, мамина мама, говорила на сибирском диалекте со множеством прибауток и неправильностей. Папина мама Штерна Лазаревна (тоже сибирячка) разговаривала рафинированным языком петербургской интеллигенции, который при этом не был ее родным.

Сусанна Саввична была женщиной массивной и рыхлой. Носила простенькие темные платья, которые виделись мне не платьями, а особого рода бабушкиной одеждой. Передвигалась медленно: были проблемы с ногой. Застудила её после войны, в Караганде, поехавши туда к мужу, высланному по выходе из лагерей Гулага. Если я поднимался рано, то слышал, как она медленно выхрамывает из своей комнатки в кухню, позевывая: «Охо-хо, да не дома! Дома, да не на печке!» Потом варит на всех кофе и жарит гренки. Про то, что кофе может быть в зернах, и что его можно молоть самим, никто, кажется, и не ведал. Бабушка всыпает из картонных пачек в кастрюлю три части суррогатного кофейного порошка и одну часть «натурального молотого», заливает смесью воды с молоком и доводит до кипения.

До моего трехлетия бабушка размещалась в этой комнатке вместе с дедом. Помню, как ползал по его груди и как посасывал его мундштук. Потом дедова кровать опустела, и я любил сидеть или лежать на ней, рядом с полукруглой голландской печью, и разглядывать картинки в журналах.

Все свободное от домашнего хозяйства время бабушка сидела на своей кровати за швейной машинкой. Иногда шила, но чаще читала какой-нибудь роман. Была она верующей (по крайней мере, считала себя таковой), но в церковь не ходила и икон не держала. «Я верю, что какая-то сила управляет нами». Видимо, религия её походила на ту, что ввели французы во время революции. Впрочем, священную историю почитала и частенько вспоминала, как изучала ее в школе, как сдавала экзамен. «Я им всё как сказку рассказала».

– Учитель к нам приходил. Упрашивал отдать меня дальше учиться. Да куды там! Какое ученье, кода работать надо.

От нее я впервые и услышал библейские истории: об Адаме, Еве и их сыновьях, о Ное, о Моисее в нильских тростниках. Разумеется, о Христе, Деве Марии, апостолах, Понтии Пилате. А самым поэтическим из всего этого собрания была молитва старца Симеона: «Ныне отпускаеши раба твоего, Владыко, по глаголу твоему...» Она завораживала, как музыка. Лет через пятнадцать Иосиф Бродский напишет свое гениальное «Сретенье»:

*Когда Она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.*

Бродский понимал, конечно, разницу между иудейским храмом и христианской церковью, но слово «церковь» здесь действительно более к месту. Это, кстати, последнее стихотворение из написанных им в России.

Библейские персонажи были бабушкиными добрыми знакомыми. Кому-то сочувствовала, кого-то осуждала. И всегда – как своих современников и чуть ли не сотрапезников.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.